Ночной полет

Автор:
Антуан де Сент-Экзюпери

Ночной полет

Антуан де Сент-Экзюпери

Вселенная Антуана де Сент-Экзюпери огромна и необычайно гостеприимна. Неслучайно миллионы читателей, поколение за поколением, продолжают летать по ее бесконечным просторам. В ней среди звезд, небесных пейзажей, ветра, гор и песков «летящий пророк двадцатого столетия» открывает пути к свободе и счастью.

Роман «Ночной полет», где отразилась и страсть писателя-летчика к приключениям, и его личный опыт, приглашает в очередной незабываемый полет.

Антуан де Сент-Экзюпери

Ночной полет (сборник)

Посвящается Дидье Дора?

© Перевод. М. Ваксмахер, наследники, 2018

I

Холмы под крылом самолета уже вреза?ли свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом; в этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют снежную белизну.

И пилот Фабьен, который с крайнего юга, из Патагонии, вел почтовый самолет на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнают об этом во?ды в гавани: по спокойствию, по легким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд.

Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он – пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу – он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах.

Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединенной фермой; казалось, она плывет ему навстречу по волнам прерии и несет на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль.

«Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдем на посадку».

Бортрадист передал это сообщение по всей линии.

На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого.

Радист передал пилоту записку:

«Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?»

Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования сообщают:

«Небо чистое, полное безветрие».

Он ответил:

– Полетим дальше.

А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение.

Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Все, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, – все это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела – ведь и в тяготах есть своя отрада – и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома низменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав – полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке – словно любовь – умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесенные старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. И городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти – обо всем, с чем человек сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия.

Десять минут – и снова в путь.

Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан: теперь это была лишь горстка огней, потом она превратилась в пригоршню звезд и, поманив его еще раз, рассеялась пылью.

«Уже не видно приборов, надо включить свет».

Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднес руку к лампочке – пальцы почти не окрасились.

«Слишком рано».

А ночь поднималась темными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни; их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней; каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду: так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолет входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, – легко и плавно. И Фабьен был счастлив.

Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов – и остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал – он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи – холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полете не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма.

Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нем поудобнее.

Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил ее на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашел ее, проверил на ощупь каждую

рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет – и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолета в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора – все оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полет, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды.

И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звездочка во мраке – это дом, и в нем – одиночество. А та, что погасла, – это дом, приютивший любовь…

Или тоску. Дом, который не шлет больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и невдомек, что помыслы их летят так далеко во мраке сомкнувшейся над ними ночи. Но Фабьен слышит их, когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взнесенные из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолет, в котором пульсирует жизнь; он пробился – как сквозь десять войн – сквозь десять гроз, прошел по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот, победитель, достиг наконец этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет ее, пролетев восемьсот километров, уже достиг кого-то – как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.

II

Итак, три почтовых самолета – из Патагонии, из Чили и из Парагвая – возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолет, который около полуночи отправлялся в Европу.

Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне.

Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трех самолетов еще не приземлился – и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег.

Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму:

– Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса.

– Хорошо.

Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдает ему один самолет; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернет ему и два других самолета.

Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черед тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолетов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь еще одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею…» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда еще его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя, – волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, все это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришел он к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя – того, что рисуется в грезах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз и навсегда прибыть все почтовые самолеты…

Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолета. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик кивнул на отливающую синевой ось: «Она была слишком туго закреплена, я исправил». Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. «Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки посвободнее». Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его:

– Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь?

– О, любовь, господин директор… знаете ли…

– Вам, как и мне, всегда не хватало времени…

– Да, не очень-то хватало…

Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску: «Вот и все! Готово!»

«Вот и все! – подумал Ривьер. – Моя жизнь тоже готова!»

Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолет уже гудел в воздухе.

III

Отдаленный гул мотора наливался, густел. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Все приняло праздничный вид.

– Вот он!

Самолет уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, что казался совсем новым. Вот он остановился наконец перед ангаром; механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пельрен не шевелился.

– Эй! Чего вы ждете? Выходите!

Занятый каким-то таинственным делом, пилот не отвечал. Вероятно, он прислушивался к еще не угасшему в нем шуму полета. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то ощупывать внизу. Наконец выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвел их серьезным взглядом, словно осматривая свое достояние.

Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает. Он честно заслужил все это: и дружескую встречу, и праздничное убранство ангара, и прочность цемента, и там, вдали, город с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных: он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил обругать их за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности – стоят и любуются луной. Но он сменил гнев на милость:

– За выпивку платите вы…

И вылез из кабины.

Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полете.

– Если б вы только знали!..

Считая, видимо, что этим все сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку.

Когда автомобиль уносил Пельрена вместе с хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилоту взгрустнулось. Конечно, что может быть приятнее – выпутаться из беды и, обретя под ногами твердую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Куда как весело!.. И все же, как

вспомнишь, становится не по себе.

Сражение с циклоном – это, по крайней мере, нечто реальное, откровенное. Иное дело – облик вещей, когда им кажется, что они одни.

«Будто в дни восстания, – подумал Пельрен, – лица людей только чуть бледнеют – но как все кругом меняется!»

Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом.

Мирно летел он над Андийскими Кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение вершин снег внес покой – как вносят его века в мертвые старинные замки. На две сотни километров – ни души, ни малейшего признака жизни, ни одного живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до шести тысяч метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг.

Это произошло вблизи пика Тупунгато…

Пельрен задумался. Да-да, именно там стал он свидетелем чуда.

Сначала он ничего не увидел, только ощутил смутное беспокойство. Как человек, который думал, что он один, и вдруг чувствует: нет, он уже не один, кто-то на него смотрит. Так и Пельрен – слишком поздно и не понимая еще что к чему – ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и все. Откуда вырывался этот гнев?

И как угадал пилот, что гнев источают и камни и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло; не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то неуловимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни, почти такие же белые, как обычно. Все это медленно оживало – как народ.

Пельрен еще не вступил в борьбу; он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не мог понять. Точно зверь перед прыжком, напрягал он мускулы, – но все, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно, – но в этом

спокойствии таилась странная мощь.

Потом все вдруг заострилось. Гребни и пики стали внезапно острыми; пилот почувствовал, что они, как форштевни[1 - Форштевень – деревянная или стальная балка на носу корабля.], рассекают упругую грудь ветра. Потом ему стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, будто огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль; она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай если придется отступить, Пельрен посмотрел назад – и содрогнулся: Кордильеры пришли в волнение.

– Теперь мне крышка.

Впереди остроконечная вершина, словно вулкан в миг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее. И вот стали вспыхивать все пики; казалось, их зажигает один за другим невидимый факельщик. Закружился первыми водоворотами воздух. И горы вокруг пилота закачались…

Неистовая схватка почти не оставляет следов; Пельрен искал и больше не находил в себе воспоминаний о мощных вихрях, которые завертели его. Он помнил только, как яростно барахтался в языках серого пламени.

Он задумался:

«Циклон – это ничего. Тут уж спасаешь свою шкуру. Но пока он еще не начался! Эта первая встреча!..»

Ему казалось, что теперь среди тысячи лиц он сможет узнать это яростное лицо; и, однако, он уже забыл его.

IV

Ривьер смотрел на Пельрена. Через двадцать минут тот выйдет из машины и, утомленный, отяжелевший, смешается с толпой. Может быть, он подумает: «Ну и устал же я… Гнусная работенка!» И скажет жене: «А ведь здесь, пожалуй, лучше, чем над Андами», – или что-нибудь в этом роде… И однако Пельрен почти

отрешился от всего, за что так цепко держатся люди; он только что узнал, как все это мелко. Он прожил несколько часов по ту сторону декораций, прожил, не зная, будет ли ему дано вновь обрести этот город с его огнями, увидит ли он еще раз пусть скучноватых, но таких дорогих спутников детства – свои маленькие человеческие слабости.

«В любой толпе, – думал Ривьер, – есть люди, которые ничем из нее не выделяются. Но они вестники Чудесного и сами того не знают. Разве что…»

Ривьер боялся иных поклонников авиации. Они не понимали сокровенного смысла трудной жизни летчиков; их восторги извращали самое существо приключения и принижали людей. Но в Пельрене было благородное величие человека, который просто лучше других знает, чего стоит наш мир, если взглянуть на него под определенным углом зрения, – величие человека, который грубовато пренебрегает пошлыми знаками одобрения…

Ривьер поздравил его по-своему:

– Как вам удалось?..

Ему нравилось, что Пельрен говорил о своем ремесле просто, говорил о полетах, как кузнец о своей наковальне.

Пельрен, чуть извиняясь, начал объяснять: «Путь к отступлению оказался отрезан; у меня не было выбора». К тому же он ничего не видел: снег слепил глаза. Его спасли бешеные токи воздуха – они подбросили самолет на высоту семи тысяч метров. «Все время, пока я переваливал через горы, мне приходилось лететь вровень с вершинами». Он сказал также, что следовало бы переместить воздухозаборник гироскопа, а то его забивает снегом: «Понимаете, образуется ледяная корка…»

Потом новые воздушные потоки завертели Пельрена, отбросили его вниз, до трех тысяч метров. И как он только не наткнулся на скалы! Вдруг оказалось, что он летит уже над равниной. «Смотрю, а вокруг самолета – чистое небо!» Пельрену показалось в тот миг, что он вышел из темной пещеры…

– В Мендосе – тоже буря?

– Нет. Когда я сел, небо было совсем чистое; никакого ветра. Но буря шла за мной по пятам.

Он описал ее, эту бурю, потому что, сказал он, «как-никак все это было довольно странно». Вершина бури терялась где-то в вышине, среди снежных туч, а основание катилось по равнине, как черный поток лавы. Он поглощал город за городом. «Отродясь не видал ничего подобного…» И Пельрен замолчал, настигнутый каким-то воспоминанием.

Ривьер обернулся к инспектору:

– Это циклон с Тихого океана; нас предупредили слишком поздно. Впрочем, такие циклоны никогда не переваливают через Анды.

Кто мог предвидеть, что на этот раз циклон продолжит свой путь на восток…

Инспектор, ничего не понимавший в этих вещах, согласился с Ривьером.

Будто собираясь что-то сказать, инспектор обернулся к Пельрену; под кожей у инспектора заходил кадык. Но он промолчал и, словно передумав, опять стал смотреть прямо перед собой с меланхолическим достоинством.

Свою меланхолию инспектор возил с собой, как багаж. Он приехал в Аргентину накануне, вызванный Ривьером для выполнения довольно неопределенных обязанностей, и не знал, куда девать свои большие руки и свое инспекторское достоинство. Он не имел права ни на выражение восторга, ни на фантазию, ни на остроумие; по своей должности он должен был восхищаться лишь одним качеством: пунктуальностью. Он не имел права выпить стаканчик-другой в компании приятелей, не имел права быть с товарищами на «ты», не мог отважиться на каламбур – разве только свершится невозможное и судьба пошлет ему в каком-нибудь аэропорту встречу с другим инспектором.

«Трудно быть судьей», – думал он.

Говоря откровенно, суда он не вершил – он лишь качал головой. Встретившись с чем-то, чего он не понимал (а он не понимал ничего), он медленно качал головой. Это приводило в смятение тех, у кого совесть была нечиста, и

способствовало исправному уходу за оборудованием. Его никто не любил: инспектор создан не для любовных утех, а для составления рапортов. Он отказался от мысли предлагать в рапортах какие-либо новые методы или технические усовершенствования – отказался, с тех пор как Ривьер написал: «Инспектора Робино просят представлять не поэмы, а рапорты. Инспектору Робино надлежит употреблять свои знания для того, чтобы стимулировать служебное рвение персонала». И с той поры человеческие слабости стали его хлебом насущным. Он охотился за любившим выпить механиком, и за начальником аэродрома, явившимся на работу после разгульной ночи, и за пилотом, неумело посадившим самолет.

Ривьер говорил о нем: «Он не очень умен, поэтому приносит большую пользу». Правила, установленные Ривьером, были для самого Ривьера результатом изучения людей; для Робино существовало лишь изучение правил.

– Робино, – сказал ему как-то Ривьер, – во всех случаях, когда самолет вылетает с опозданием, вы должны лишать виновных премии за точность.

– Даже тогда, когда задержка от них не зависит? Даже в случае тумана?

– Даже в случае тумана.

И Робино испытал своего рода гордость: значит, человек, под чьим началом он служит, так силен, что не боится быть несправедливым. Значит, на Робино тоже падает отблеск величия этой власти, не боящейся обижать людей.

– Вы дали отправление в шесть пятнадцать, – повторял он потом начальникам аэропортов. – Мы не можем выплатить вам премию.

– Но, господин Робино, ведь в пять тридцать за десять шагов не было видно ни зги!

– Правила есть правила.

– Господин Робино, не можем же мы разогнать туман!

Но Робино напускал на себя таинственность и молчал.

Он представлял дирекцию. Из всех этих пешек он один понимал, что, наказывая людей, можно улучшать погоду.

«Он вообще не думает, – говорил о нем Ривьер, – это лишает его возможности думать неверно».

Пилот, калечивший машину, лишался премии за безаварийные полеты.

– А если пилот терпит аварию над лесом?

– Безразлично, хотя бы и над лесом.

И Робино неукоснительно следовал этому указанию.

– Я очень сожалею, – говорил он пилотам, упиваясь собственными словами, – я бесконечно сожалею, но старайтесь терпеть аварии не над лесом.

– Но, господин Робино! Ведь это от нас не зависит!

– Правила есть правила.

«Правила, – думал Ривьер, – похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей». Ривьеру было безразлично, справедлив он в глазах людей или несправедлив. Быть может, слова «справедливость» и «несправедливость» вообще были лишены для него всякого смысла. В маленьких городках обыватели кружатся вечерами вокруг беседки, в которой играет музыка; Ривьер думал: «Какой смысл говорить о справедливости или несправедливости по отношению к ним: они пока еще не существуют». Человек был для него девственным воском, из которого предстояло что-то вылепить. В эту материю надо вдохнуть душу, наделить ее волей. Своей суровостью он хотел не поработить людей, а помочь им превзойти самих себя. Наказывая их за каждое опоздание, он совершал несправедливость, – но тем самым он устремлял волю людей, их помыслы на одно: на то, чтобы в каждом аэропорту самолеты вылетали без опозданий; он создавал эту волю. Не позволяя людям радоваться нелетной погоде как приглашению отдохнуть, он заставлял их напряженно ждать минуты, когда небо прояснится; и каждый – вплоть до последнего подсобного рабочего – в душе воспринимал это ожидание как что-то

унизительное. И они стремились использовать первую же трещину в небесной броне. «На севере – окно! В путь!» Благодаря Ривьеру на всей линии в пятнадцать тысяч километров господствовал культ своевременной доставки почты.

Ривьер говорил иногда:

– Эти люди счастливы: они любят свое дело, и любят его потому, что я строг.

Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. «Нужно заставить их жить в постоянном напряжении, – размышлял Ривьер, – жизнью, которая приносит им и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь».

Когда машина въехала на улицы города, Ривьер приказал отвезти его в контору компании. Оставшись наедине с Пельреном, Робино посмотрел на летчика и заговорил.

V

В тот вечер Робино охватила тоска. Перед лицом Пельрена-победителя он только что обнаружил, насколько серой была его собственная жизнь. Обнаружил, что он, Робино, несмотря на свое звание инспектора, на свою власть, стоил меньше, чем этот разбитый усталостью, закрывший глаза человек с черными от масла руками, забившийся в угол машины. Впервые Робино испытывал восхищение и потребность выразить это чувство. А больше всего – потребность в дружбе. Он устал от поездки, от каждодневных неудач; он даже чувствовал себя немного смешным. В этот вечер, проверяя склад горючего, он совершенно запутался в цифрах, и тот самый кладовщик, которого он хотел поймать на злоупотреблениях, сжалился над ним и закончил за него подсчеты. Больше того, заявив, что масляный насос типа Б-6 установлен неправильно, он спутал его с масляным насосом типа Б-4, и коварные механики позволили ему добрых двадцать минут клеймить позором «невежество, которому нет оправдания», – его собственное невежество.

К тому же он боялся своей комнаты в гостинице. Везде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, он шел после работы в свой неизменный номер. Обремененный переполнявшими его тайнами, он запирался на ключ, вынимал из чемодана стопу бумаги, медленно выводил слово «Рапорт» и, написав несколько строчек, рвал бумагу в клочки. Он страстно мечтал спасти компанию от великой опасности. Но компании никакая опасность не угрожала. До сих пор ему удалось спасти одну лишь втулку винта, тронутую ржавчиной. Неторопливо водя пальцем по этой ржавчине, он мрачно смотрел на стоявшего перед ним начальника аэродрома; тот ответил: «Обратитесь в посадочный пункт, откуда этот самолет только что прибыл…» Робино начинал сомневаться в значительности своей роли.

Желая сблизиться с Пельреном, он отважился предложить:

– Не пообедаете ли со мной? Мне хочется немного поболтать… Мои обязанности не так уж легки… – Но, боясь упасть в глазах пилота, тут же поправился: – На мне лежит такая ответственность!

Подчиненные не любили допускать Робино в свою частную жизнь. Каждый думал: «Пока он еще ничего не нашел для своего рапорта, но как только он проголодается, он меня съест».

Однако в тот вечер Робино думал лишь о своих бедах: его подлинную тайну составляла тягостная экзема, постоянно мучившая его, и ему захотелось сегодня рассказать об этом, захотелось, чтобы его пожалели: не находя больше утешения в гордости, он искал его теперь в смирении. Во Франции у него была любовница; возвращаясь, он рассказывал ей по ночам о своей инспекционной деятельности, – это был его способ обольщения, – но он знал, что она не любит его, и сегодня ему было просто необходимо поговорить о ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Форштевень – деревянная или стальная балка на носу корабля.

Купить: https://tellnovel.com/de-sent-ekzyuperi_antuan/nochnoy-polet

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити